

*Часть первая*

***Париж***

## I

«Пожалуй, пора и раздаться шагам в коридоре», — подумал Бернар. Он поднял голову и насторожился. Нет, тихо: отец и старший брат задерживаются в суде; мать ушла в гости; сестра — на концерте; младший брат, маленький Калу, каждый день после лица должен отсиживаться в пансионе. Бернар Профитандье сидел дома и зубрил к выпускному экзамену: до него оставалось всего три недели. Семья оберегала его одиночество; дьявол действовал иначе. Хотя Бернар снял куртку, он задыхался. Через распахнутое на улицу окно в комнату вливалась духота. Лоб у него покрылся испариной. Капля пота скатилась по носу и упала на письмо, которое он держал в руке.

«Словно слеза, — подумалось ему. — Но лучше пот, чем слезы».

Да, дата неоспорима. Сомнений быть не может: речь шла о нем, Бернаре. Письмо было адресовано матери; старое, семнадцатилетней давности, любовное письмо, без подписи.

«Что означает этот инициал? V, но его можно принять и за N... Прилично ли спросить мать? Ладно, доверимся ее хорошему вкусу. Я волен воображать, что он был принц. Но хорошенькое дельце, если выяснится, что я сын нищего! Незнание того, кто твой отец, излечивает от опасности быть на него похожим. Всякий розыск обязывает. Воспользуемся пока той сво-

бодой, какую он мне дает. Глубже копать не станем. На сегодня хватит».

Бернар сложил письмо. Оно было того же формата, что и дюжина других писем в пачке. Письма перевязывала розовая ленточка; ему не надо было ее развязывать, достаточно слегка передвинуть ленту, чтобы она, как прежде, опоясала всю пачку. Он положил письма обратно в шкатулку, а шкатулку — в выдвижной ящик подзеркального столика. Ящик не был открыт; Бернар обнаружил его секрет сверху. Он водворил на место разобранные деревянные пластинки его верхней части, которую должна была прикрыть тяжелая ониксовая плита. Мягко, осторожно он опустил плиту и снова поставил на нее два хрустальных канделябра и громоздкие часы, над починкою которых только что ради забавы возился.

Часы пробили четыре. Он кончил свою работу вовремя.

«Господин следователь и господин адвокат, сын его, возвратятся не раньше шести. У меня есть время. Нужно, чтобы господин следователь, прийдя домой, нашел у себя на письменном столе дельно составленное письмо, где я объявлю ему о моем уходе. Но прежде, чем его написать, мне совершенно необходимо хоть немного проветрить свои мысли и разыскать моего дорогого Оливье, чтобы обеспечить себе временное пристанище. Оливье, друг мой, пришло время для меня подвергнуть испытанию твою любезность, а для тебя — показать мне, чего ты стоишь. Наша дружба была прекрасна тем, что до сих пор нам ни разу не приходилось оказывать друг другу услуги. Ба! Не так уже тягостно будет просить об оказании пустяковой услуги. Досадно, что Оливье будет не один. Ну что ж! Я найду предлог отвести его в сторону. Я хочу испугать его своим спокойствием. Необычайное — вот сфера, в которой я чувствую себя как рыба в воде».

Т-ская улица, где жил до сего дня Бернар Профитандье, совсем близко от Люксембургского сада. Там, у фонтана Медичи, на аллее, выходящей к нему, встречались обыкновенно каждую среду, от четырех до шести, некоторые из его товарищей. Говорили об искусстве, философии, спорте, политике и литературе.

Бернар шел очень быстро, но, войдя в ворота сада, заметил Оливье Молинье и тотчас же замедлил шаг.

Собрание в этот день было более многолюдным, чем обычно, несомненно, по случаю хорошей погоды. Явились и кое-какие новички, Бернару незнакомые. Каждый из этих молодых людей, едва оказавшись на публике, начинал ломать комедию и вести себя как-то вымученно.

Завидев приближающегося Бернара, Оливье покраснел, довольно грубо оставил молодую женщину, с которой беседовал, и удалился. Бернар был его самым близким другом, и потому Оливье старательно следил, чтобы не возникало впечатления, будто он добивается его общества; иногда Оливье даже притворялся, что в упор не замечает Бернара.

Прежде чем подойти к Оливье, Бернар должен был миновать несколько группок, а раз он тоже прикидывался, будто Оливье ему не нужен, то прохаживался не спеша.

Четверо парней окружали невысокого бородача в пенсне — выглядел он намного старше их всех, — державшего в руке книгу. Это был Дюрмер.

— Ничего не поделаешь, — вещал он, обращаясь к одному из школьников, явно польщенный тем, что все его слушают. — Дошел до тридцатой страницы, но не нашел ни одной запоминающейся краски, ни единого слова, которое рисовало бы картину. Автор пишет о женщине, но мне так и неизвестно, красное на ней было платье или синее. Ну а по мне, если я не ви-

жу красок, право же, в книге нет ничего. — Чувствуя, что его слова почти не принимаются всерьез, он поэтому ощущал еще большую потребность в преувеличениях и повторял: — Ничего, абсолютно ничего.

Бернар перестал слушать красная; он считал невежливым уйти сразу же, хотя уже прислушивался к спорившим у него за спиной голосам другой группы, той самой, к которой подошел Оливье, когда оставил молодую женщину; один из спорщиков сидел на скамейке и читал «Аксон франсез».

Каким серьезным выглядит среди них Оливье Молинье! Хотя и почти моложе всех. Его совсем еще детское лицо и взгляд обнаруживают раннюю зрелость мысли. Он легко краснеет, нежен. Как ни старается он быть со всеми приветливым, какая-то неведомая тайная сдержанность, некая стыдливость удерживают товарищей от фамильярности с ним. От этого он страдает. Без Бернара страдал бы сильнее.

Молинье, как и Бернар, на мгновение задерживался у той или другой группы; он делал это из вежливости: ничто в этих спорах его не интересовало.

Он склонился над плечом читавшего. Бернар, не оборачиваясь, услышал, как он говорил:

— Зря ты читаешь газеты, от них только голова болит.

Читавший резко ответил:

— А ты зеленеешь от злости, как слышишь о Моррасе.

Третий насмешливо спросил:

— Тебе доставляют удовольствие статьи Морраса?

Первый ответил:

— Мне плевать на них, но я считаю, что Моррас прав.

Затем вмешался четвертый, чей голос Бернар не узнал:

— Если вещь не нагоняет скуки, ты считаешь, что ей не хватает глубины.

Первый возразил на это:

— А по-твоему, стоит написать глупость — и выйдет занимательно.

— Поди сюда, — шепотом сказал Бернар, резко схватив Оливье под руку. Он отвел его на несколько шагов. — Отвечай живо, я тороплюсь. Ты мне как-то говорил, что спишь не на том этаже, где родители?

— Я тебе показывал дверь моей комнаты; она выходит прямо на лестницу, полуэтажом ниже их квартиры.

— Ты говорил, что вместе с тобою спит брат?

— Да, Жорж.

— Вы там одни?

— Да.

— Малыш умеет держать язык за зубами?

— Если нужно. Почему ты спрашиваешь?

— Слушай. Я ушел из дому или, во всяком случае, собираюсь уйти сегодня вечером. Не знаю еще, куда денусь. Можешь приютить меня на ночь?

Оливье сильно побледнел. Волнение его было так велико, что он не мог смотреть на Бернара.

— Да, — сказал он, — но приходи не раньше одиннадцати. Каждый вечер мама спускается пожелать нам доброй ночи и запереть дверь на ключ.

— Ну и как быть?

Оливье улыбнулся:

— У меня есть другой ключ. Постучи тихонько, чтобы не разбудить Жоржа, если он уснет.

— Консьерж меня пропустит?

— Я предупрежу его. Да у меня с ним прекрасные отношения. Это он дал мне второй ключ. До скорого!

Они расстались, не пожав руки друг другу. И когда Бернар удалялся, обдумывая письмо, которое собирал-

ся написать, — следовательно должен будет найти его у себя на столе по возвращении домой, — Оливье, не желавший, чтобы его видели только наедине с Бернаром, стал разыскивать Люсьена Беркая, которым товарищи слегка пренебрегали. Оливье подружился бы с Люсьеном, если бы не предпочитал ему Бернара. Насколько Бернар предприимчив, настолько Люсьен робок. Чувствуется, что слабый мальчик; кажется, будто он живет только сердцем и умом. Он редко осмеливается выступить вперед, но безумно радуется всякий раз, как видит, что Оливье подходит к нему. Каждый из его товарищей догадывается, что Люсьен пишет стихи; однако, я уверен, Оливье — единственный, кому Люсьен открывает свои планы. Они отошли к краю террасы.

— Мне очень хотелось бы, — говорил Люсьен, — рассказать историю не лица, но места, например вот этой аллеи, рассказать, что происходит на ней в течение дня, с утра до вечера. Прежде всего на ней появляются няньки с детьми, кормилицы в лентах... Нет, нет... сначала совсем седые люди, без пола и возраста, подметают аллею, поливают траву, пересаживают цветы — словом, готовят сцену и декорации к открытию ворот, понимаешь? Затем — явление кормилиц. Карапузы лепят из песка пирожные, дерутся, няньки отпускают им пощечины. Потом выход младших классов школ — и вслед за ними работниц. Бедняки приходят позавтракать на скамейке. Позднее — люди, разыскивающие друг друга или убегающие друг от друга; те, кто жаждет одиночества, — мечтатели. А потом толпа — в час музыки и выхода из магазинов. Школьники, как вот теперь. Вечером — влюбленные: одни целуются, другие расстаются со слезами. Наконец, когда уже совсем темнеет, чета стариков... И вдруг дробь барабана: закрывают. Все выходят. Пьеса окон-

чена. Понимаешь, что-нибудь такое, что давало бы впечатление конца всего, смерти... понятно, так, чтобы не было речи о смерти.

— Да, я представляю это очень ясно, — сказал Оливье, который думал о Бернаре и не слышал ни одного слова.

— И это не все, не все! — с жаром продолжал Люсьен. — Мне хотелось бы в своего рода эпилоге показать эту самую аллею ночью, когда все разошлись, показать, как она пустынна и еще прекраснее, чем днем: царит тишина, в которой слышнее звуки природы, шум фонтана, ветра в листве и пение ночной птицы. Я думал сначала заставить блуждать по аллее тени, может быть, оживить статуи... но, мне кажется, так получилось бы банальнее. Что ты скажешь об этом?

— Нет, не надо статуй, не надо, — рассеянно запротестовал Оливье, потом, заметив печальный взгляд собеседника, с жаром воскликнул: — Ну ладно, старина, если тебе это удастся, будет потрясающе!

## II

В письмах Пуссена нет даже намека на какие-либо обязанности по отношению к родителям. Никогда он не выражал сожаления, что разлучился с ними. Добровольно переселившись в Рим, он потерял желание возвратиться на родину, можно даже сказать — всякое о ней воспоминание.

*Поль Дежарден. Пуссен*

Господин Профитандье спешил домой и находил, что его коллега Молинье, провожавший его по бульвару Сен-Жермен, не слишком торопится. У Альберика Профитандье сегодня выдался особенно хлопотный день в суде; его беспокоило ощущение какой-то



тяжести в правом боку: усталость сказывалась на печени, которая начинала сдавать. Он думал о ванне, которую скоро примет; ничто так не успокаивало его после дневных забот, как хорошая ванна; в предвкушении ее он сегодня не позавтракал, считая, что неблагоприятно входить в воду, хотя бы даже теплую, с наполненным желудком. Конечно, это может быть только предрассудок, но предрассудки — устои цивилизации.

Оскар Молинье ускорял шаги как только мог и прилагал все усилия, чтобы поспевать за Профитандье, но он был гораздо ниже ростом и мышцы его ног не были так развиты; кроме того, он страдал некоторым ожирением сердца и легко задыхался. Профитандье, еще крепкий мужчина пятидесяти пяти лет, с впалой грудью и быстрой походкой, охотно покинул бы его, но он был очень щепетилен по части приличий: коллега старше его, выше чином — ему следует оказывать уважение. Кроме того, ему нельзя было дать почувствовать Молинье, что он богат, — а после смерти родителей жены богатство его было значительно, — тогда как все доходы господина Молинье ограничивались жалованьем председателя палаты, жалованьем ничтожным и совершенно не соответствующим высокому положению, которое он занимал с весьма большим достоинством, прикрывая им свою бездарность. Профитандье старался не выдать своего нетерпения; он обернулся к Молинье и увидел, как тот вытирает лоб; впрочем, его очень интересовало то, что говорил ему Молинье, но точки зрения у них были различные, и спор становился жарким.

— Устраивайте наблюдение за домом, — говорил Молинье. — Собирайте показания консьержа и лживой служанки, все это прекрасно. Но помните, что стоит вам только немножко переусердствовать в расследовании, и дело у вас сорвется... Я хочу сказать,

что вы рискуете зайти гораздо дальше, чем предполагали сначала.

— Вся эта щепетильность не имеет никакого отношения к правосудию.

— Верно ли, верно ли это, мой друг? Мы с вами знаем, чем должно являться правосудие и чем оно является. Мы стараемся изо всех сил, само собой разумеется, но, как мы ни стараемся, мы достигаем лишь весьма приблизительных результатов. Дело, которое занимает вас сегодня, особенно щекотливо: из пятнадцати обвиняемых или тех, которые по одному вашему слову могут завтра стать обвиняемыми, девять несовершеннолетних. И вы знаете, что некоторые из этих юнцов — сыновья очень почтенных родителей. Вот почему при таких обстоятельствах я считаю каждый приказ об аресте огромным промахом. Газеты разных партий будут в курсе дела, и вы открываете дверь для любого шантажа, любой диффамации. Все ваши усилия будут тщетны: несмотря на всю вашу осторожность, вы не помешаете тому, что будут названы имена... Я не вправе давать вам советы, и вы знаете, насколько охотнее я выслушал бы их от вас, ибо всегда признавал и ценил возвышенность ваших взглядов, ясность ваших мыслей, вашу прямоту... Вот как я стал бы действовать на вашем месте: я попытался бы найти средство положить конец этому отвратительному скандалу, захватив трех или четырех зачинщиков... Да, я знаю, что захватить их трудно, но, черт побери, это наша профессия. Я добился бы закрытия помещения, где совершаются эти оргии, позаботился бы о предупреждении родителей юных безобразников и устроил бы все это осторожно, без шума, лишь бы только предотвратить возможность рецидивов. Ну посадите в тюрьму женщин, я охотно предоставляю это вам; мне кажется, что мы имеем здесь дело с несколькими вконец развращенными тварями, от которых необхо-

димо очистить общество. Но, повторяю еще раз, не хватайте детей; попугайте их — этого будет довольно, затем подведите их поступки под формулировку «действовал без разумения», и пусть они на долгое время остаются изумленными тем, что отделались только испугом. Вспомните, что троим из них нет еще четырнадцати и что родители, наверное, считают их ангелами чистоты и невинности. И в самом деле, дорогой друг, говоря между нами, разве в этом возрасте мы помышляли о женщинах?

Он остановился, больше запыхавшись от своего красноречия, чем от ходьбы, и заставил остановиться также Профитандье, которого держал за рукав.

— А если мы и мечтали о женщинах, — продолжал он, — то идеально, мистически, религиозно, если можно так выразиться. Теперешние дети, увы, не имеют больше идеалов... Кстати, как поживают ваши? Понятно, все сказанное мной к ним не относится. Я знаю, что при вашем присмотре за ними и воспитании, которое вы им дали, нет оснований опасаться, что они пойдут по дурной дорожке.

Действительно, Профитандье до сих пор мог лишь гордиться своими сыновьями, но он не строит иллюзий: лучшее воспитание в мире не в силах сломить дурных инстинктов, без сомнения, их нет и у детей Молинье; поэтому они сами избегают дурных знакомств и не читают дурных книг. В самом деле, какая польза запрещать то, что предотвратить невозможно? Запрещенные книги мальчик читает украдкой. Система Профитандье гораздо проще: он не запрещает читать дурные книги, но устраивает так, что его дети не чувствуют ни малейшего желания их читать. Что же касается дела, о котором идет речь, то о нем он еще подумает и, во всяком случае, обещает ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Молинье. Пока будет просто продолжаться негласное наблюдение, и так как

зло существует уже три месяца, то можно потерпеть его еще несколько дней или недель. К тому же наступающие каникулы, наверное, положат конец сборищам преступников. До свидания.

Профитандье смог наконец ускорить шаг.

Придя домой, он сейчас же побежал в туалетную и открыл краны ванны. Антуан подждал возвращения барина и устроил так, чтобы столкнуться с ним в коридоре.

Этот верный слуга жил в доме уже пятнадцать лет; дети выросли на его глазах. Он мог наблюдать множество вещей, о множестве других подозревал, но делал вид, что не замечает того, что желали от него скрыть. Бернар сохранил свою детскую привязанность к Антуану. Он не хотел уходить из дому, не попрощавшись с ним. И может быть, благодаря раздражению против семьи он находил удовольствие в том, чтобы посвятить простого слугу в тайну своего ухода, о которой его близкие ничего не узнают; в оправдание Бернара нужно сказать, что никого из родных в тот момент дома не было. К тому же Бернар не мог бы проститься с ними так, чтобы они не попытались его удержать. Он страшился объяснений. Антуану он мог сказать просто: «Я ухожу». Но, говоря это, он так торжественно протянул ему руку, что старый слуга удивился:

— Господин Бернар не возвратится к обеду?

— Он даже не придет и ночевать, Антуан. — И так как последний стоял в замешательстве, не зная хорошенько, как ему следует понимать слова Бернара и вправе ли он задавать ему вопросы, то Бернар еще раз многозначительно произнес: — Я ухожу. — Затем прибавил: — Я оставил письмо на письменном столе... — Он не мог решиться сказать «для папы» и повторил: — На письменном столе. Прощай.

Пожимая руку Антуану, он испытал волнение, словно расставался со своим прошлым; торопливо

повторил еще раз «прощай», затем ушел, прежде чем успели разразиться подступавшие к его горлу громкие рыдания.

Антуан был в нерешительности: не берет ли он на себя тяжелой ответственности, позволяя Бернару уйти так, — но как бы он мог удержать его?

Антуан чувствовал, конечно, что этот уход Бернара был для всей семьи событием неожиданным, чудовищным, но его роль совершенного слуги состояла в том, чтобы не подавать виду, будто чему-нибудь удивляешься. Он не должен был знать то, чего не знал господин Профитандье. Без сомнения, он мог бы сказать ему просто: «Известно ли барину, что господин Бернар ушел?» Но он терял таким образом все свои преимущества, а это было совсем невесело. Если он с таким нетерпением поджидал своего господина, то лишь для того, чтобы произнести ему бесстрастно-почтительным тоном, как простое поручение, которое Бернар велел ему передать, следующую тщательно подготовленную им фразу:

— Перед уходом господин Бернар оставил для барина на письменном столе письмо.

Фраза эта была настолько проста, что Антуан мог опасаться, как бы она не осталась незамеченной; он безуспешно старался придумать что-нибудь более значительное; все, что ему удавалось сочинить, выходило ненатурально. Но так как никогда еще не случалось, чтобы Бернар уходил таким образом, то господин Профитандье, которого Антуан искоса наблюдал, не мог удержаться от восклицания:

— Что это значит? Перед уходом...

Он тотчас же овладел собой — он не должен выказывать изумления перед слугой; чувство собственности превосходства не покидало его. Он сказал очень спокойным, истинно судейским тоном:

— Прекрасно. — И спросил, направляясь в кабинет: — Где, говоришь, это письмо?

— На письменном столе.

Действительно, едва Профитандье вошел в комнату, как увидел конверт, положенный прямо перед креслом, в котором он обыкновенно сидел, когда писал, но от Антуана не так легко было отделаться, и господин Профитандье, не успев прочесть две строчки, услышал стук в дверь.

— Я забыл сказать барину, что в малой гостиной его ожидают две особы.

— Какие особы?

— Не знаю.

— Обе по одному делу?

— Вроде нет.

— Чего им от меня надо?

— Не знаю. Они хотели бы вас видеть.

Профитандье почувствовал, что терпение его истощается.

— Я уже говорил и повторю: я не желаю, чтобы меня беспокоили дома, особенно в такой час. У меня есть приемные дни и часы в палате... Зачем ты их впустил?

— Они сказали, что пришли к барину по самому неотложному делу.

— Давно они здесь?

— Около часу.

Профитандье сделал несколько шагов по комнате и провел рукой по лбу; в другой руке он держал письмо Бернара. Исполненный достоинства, Антуан стоял на пороге с невозмутимым видом. Наконец-то ему выпала радость видеть, как судья теряет самообладание и впервые в жизни, топая ногами, кричит:

— Пусть оставят меня в покое! Пусть убираются! Скажи им, что я занят. Пусть приходят в другой раз.

Антуан еще не вышел из комнаты, как Профитандье подбежал к двери:

— Антуан! Антуан!.. Потом пойдй закрой краны в ванне.

Да, ничего не скажешь — принял ванну! Он подошел к окну и прочел:

*Милостивый государь!*

*После одного случайно сделанного мной сегодня откровения я понял, что мне не следует больше считать Вас своим отцом, что для меня огромное облегчение. Чувствуя так мало любви к Вам, я долгое время думал, что являюсь каким-то вырожденком; предпочитаю знать, что я вовсе не Ваш сын. Может быть, Вы полагаете, что я обязан Вам признательностью за то, что Вы обращались со мной как с собственным сыном; но, вопервых, я всегда чувствовал неодинаковость Вашего отношения к другим детям и ко мне; что же касается сделанного Вами для меня, то я достаточно Вас знаю и уверен, что Вы просто боялись скандала, желали скрыть положение, которое не делало Вам большой чести, — и, наконец, не могли поступить иначе. Я предпочитаю уйти, не повидавшись с матерью, потому что боюсь расстрогаться, прощаясь с ней навсегда, а также потому, что она могла бы почувствовать себя передо мной в ложном положении, что было бы мне неприятно. Сомневаюсь, чтобы ее привязанность ко мне была очень велика: ведь большую часть времени я проводил в пансионе, и она не успела узнать меня; кроме того, мое присутствие постоянно напоминало ей событие в ее жизни, которое она хотела бы предать забвению; я думаю поэтому, что она узнает о моем уходе с облегчением и удовольствием. Скажите ей, если у Вас хватит мужества, что я не сержусь на нее за то, что она произвела меня на свет бастардом; напротив, я предпочитаю быть незаконным и знать, что*

*рожден не от Вас. (Извините, что я говорю так; у меня нет намерения наносить Вам оскорбления; но то, что я говорю, даст Вам право презирать меня, и Вы почувствуете от этого облегчение.)*

*Если Вы желаете, чтобы я хранил молчание относительно тайных причин, заставивших меня покинуть Ваш дом, то прошу Вас не делать попыток водворить меня обратно. Принятое мною решение покинуть Вас бесповоротно. Не знаю, какую цифрью измеряются Ваши расходы на мое содержание; я мог согласиться жить за Ваш счет лишь потому, что пребывал в неведении, но, само собою разумеется, я предпочитаю ничего не получать от Вас в будущем. Мысль, что я чем-нибудь обязан Вам, мне невыносима, а если бы мне пришлось снова стать зависимым от Вас, то, мне кажется, я скорее умер бы с голоду, чем сел за Ваш стол. К счастью, я, помнится, слышал однажды, что моя мать, выходя замуж, была богаче Вас. Таким образом, я вправе думать, что жил лишь за ее счет. Я благодарю ее, освобождаю от всяких обязанностей передо мной и прошу забыть меня. Вы, надеюсь, придумаете, каким образом объяснить мой уход тем лицам, которых он мог бы удивить. Позволяю Вам во всем винить меня (но хорошо знаю, что Вы не станете ожидать моего позволения, чтобы именно так поступить).*

*Подписываюсь смешной, принадлежащей Вам фамилией, которую с удовольствием возвратил бы ее владельцу; воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы ее обесчестить.*

*Бернар Профитандье*

*Р. С. Оставляю у Вас все свои вещи, полагаю, что Калу может воспользоваться ими на более законном для Вас основании.*

Господин Профитандье, шатаясь, добрался до кресла. Он хотел бы обдумать содержание письма, но мысли бессвязно путались в голове. К тому же он опять



почувствовал легкое покалывание в правом боку, под ложечкой; ничего теперь не поделаешь: начинается приступ печени. Только бы в доме нашлась виши! Хоть бы жена вернулась! Как он скажет ей о бегстве Бернара? Должен ли он показывать письмо? Как несправедливо это письмо, как чудовищно несправедливо! Особенно ему есть от чего прийти в негодование. Он хотел бы принять за негодование свое горе. Он тяжело дышит и при каждом выдохе приговаривает: «Ах, боже мой!» — быстрое и слабое, как вдох! Боль в боку смешивается у него с душевным страданием, подтверждает его, как бы сосредоточивая в одном месте. Ему кажется, что все его горе заключено в печени. Он бросается в кресло и перечитывает письмо Бернара. Печально пожимает плечами. Конечно, письмо жестоко к нему, но он чувствует в нем досаду, вызов, дерзость. Никто из его других детей, настоящих, никогда бы не был способен написать такое письмо, как не был бы способен и он сам; он отлично знает это, ибо в них нет ничего такого, чего он не замечал бы в себе самом. Конечно, он всегда считал, что ему следует порицать то новое, грубое и необузданное, что он чувствовал в Бернаре; но тщетно он старается думать так: он ясно сознает, что именно из-за этих качеств он любит Бернара, как никогда не любил других детей.

Уже несколько минут из соседней комнаты слышно Цецилию, которая, возвратившись с концерта, села за рояль и стала упорно барабанить все одну и ту же фразу баркаролы. В конце концов Альберик Профитандье не выдержал. Он приоткрыл дверь гостиной и сказал голосом жалобным, как бы умоляющим, потому что колика в печени начинала причинять ему жестокое страдание (к тому же он всегда был немного робок с дочерью):

— Милая Цецилия, не будешь ли ты добра узнать, есть ли в доме бутылка виши; а если нет, послать за

ней. Кроме того, я очень просил бы тебя прекратить на время игру.

— Ты нездоров?

— Нет-нет. Просто мне нужно обдумать один вопрос перед обедом, и твоя музыка мне мешает. — И из любезности — испытываемая им боль делает его добрым — прибавляет: — Какую красивую вещь ты играла! Что это?

Но он уходит, не успев услышать ответ. К тому же дочь знает, что он ничего не понимает в музыке и путает фокстрот с маршем из «Тангейзера» (так, по крайней мере, она утверждает), поэтому у нее нет никакого желания отвечать ему. Но вот он снова открывает дверь:

— Мама возвратилась?

— Нет еще.

Как все нелепо! Она возвратится так поздно, что у него не будет времени поговорить с нею. Что бы такое ему придумать, чтобы объяснить отсутствие Бернара? Ведь нельзя же рассказать правду, раскрыть детям тайну мимолетного увлечения матери. Ах, все давно уже было прощено, основательно забыто, заглажено! Рождение младшего сына скрепило восстановленное согласие. И вдруг этот мстительный призрак, поднимающийся из прошлого, труп, выбрасываемый волною на берег...

Ну что там еще? Дверь в кабинет бесшумно открылась, он поспешно засовывает письмо во внутренний карман пиджака; портьера тихонько приподнимается. Это Калу.

— Папа, скажи... Как перевести эту латинскую фразу? Я ее совсем не понимаю...

— Я ведь просил тебя не входить ко мне без стука. Больше того, я не желаю, чтобы по всяким пустякам ты являлся мне мешать. Ты привыкаешь рассчитывать на чужую помощь и полагаться на других, вместо того

чтобы самому стараться. Вчера была задача по геометрии, сегодня вот... Из какого автора твоя фраза?

Калу протягивает тетрадь:

— Он не сказал нам; возьми посмотри, сам узнаешь. Учитель нам ее продиктовал, а я, может быть, неправильно записал. Я хотел бы узнать, правильно ли она написана...

Господин Профитандье берет тетрадь, но он сильно страдает. Он нежно подталкивает мальчика:

— Потом. Уже подают ужин. Шарль пришел?

— Он спустился к себе в кабинет. — (Адвокат принимает клиентов на первом этаже.)

— Ступай, скажи, чтобы он зашел ко мне. Ступай, живо!

Звонок! Наконец-то возвращается госпожа Профитандье; она извиняется, что задержалась; ей пришлось нанести много визитов.

Она очень опечалена нездоровьем мужа. Что бы сделать для облегчения его боли? У него действительно вид неважный. Ужинать он не будет. Пусть садятся за стол без него. Но после пусть она придет к нему с детьми. Где Бернар? Ах да... Друг... ты его знаешь, тот, с кем он занимается по математике, увел его к себе.

Профитандье чувствовал себя лучше. Сначала он боялся, что боли не позволят ему говорить. Нужно же, в самом деле, объяснить исчезновение Бернара. Он теперь знал, что он должен сказать, сколь ни мучительно будет это объяснение. Он чувствовал в себе твердость и решимость. Он опасался только, как бы жена не прервала его слезами, криком, как бы ей не сделалось дурно...

Час спустя она входит с тремя детьми, подходит к нему. Он усаживает ее против своего кресла.

— Старайся держать себя в руках, — говорит он тихим, но повелительным тоном, — и не говори ни слова, понимаешь? Мы побеседуем потом наедине.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. ПАРИЖ .....	7
Часть вторая. СААС-ФЕ .....	175
Часть третья. ПАРИЖ .....	237